

АНДРЕЙ АНТИПИН



ЖИВЫЕ ЛИСТЬЯ

Из книги миниатюр

ТАЙНА НЕИСПОВЕДИМАЯ

Не знаю, от чего больше пользы: от того ли, что пишу? Или от того, что иду по охотничьей лыжне, стряхивая посохом снег с молодых деревьев?

НОША

После снегопада в лесу много лопнувших молодых деревьев. Это беда на них свалилась — снегом на голову, и однажды перевесила: сначала наклонила, согнув знаком вопроса, а потом и сломала. В то же время большие деревья стоят, не шелохнутся, в битых набок белых папахах. Разве что какое-нибудь совсем старое, дуплистое хрястнет с характерным звуком раскалываемой лучины и рухнет поперёк лыжни...

И всех жаль: и молодых, и старых. Старых — потому, что жизнь прошла, как и твоя когда-нибудь пройдёт, и настала пора умирать. Но молодых-то, конечно, жаль больше, так что согласно повторишь за мудрым азербайджанским поэтом Видади Молла Вели: “На жизнь имея столько прав — как тяжело умирать!”

АНТИПИН Андрей Александрович родился в 1984 году в селе Подымахино Усть-Кутского района Иркутской области. В 2008 году заочно окончил факультет филологии и журналистики Иркутского государственного университета. Публиковался в журналах “Наш современник”, “Сибирь”, “Юность”, “Молоко”, “Москва”. Автор книг “Капли марта”, “Житейная история”. Лауреат литературных премий. Член Союза писателей России. Живёт в родном селе.

А ещё, глядя на эти молодые деревья, точнее, на то, что от них осталось — высокие, рваные на торцах пеньки и лежащие в снегу, как с плеч снятые — вершины с недоразвившейся кроной, невольно подумаешь, что молодость и сила, сколько на них ни уповай, на проверку не всякий жгут перетрут, не всякую беду перебедуют, не каждую юдоль одолеют. Так, может, не надо столь самонадеянно полагаться на них и переключивать с больной головы на здоровую, говоря: “Молодые, сильные! Это им — как слону дробина...”?

Ноша-то она, конечно, крестная и всякому, сказано, даётся по силам. Да только старое дерево на молодое не обопрётся! И всё реже, Господи, мы превыше морока и зги, которые Ты ниспосылаешь нам за грехи наши, а люди, нерадивые чада Твои, своей безрассудной верой в нас лишь безмерно отягчают эту ношу.

“КОГДА НЕ СТАЛО РОДИНЫ МОЕЙ”

Пошёл в первый класс — как раз упразднили правило, и родину стали писать с маленькой буквы. Да и Родины — той, с большой буквы — не стало.

Осталась только в “Букваре” и прописных тетрадах. А вскоре её и оттуда — взащей...

И всё-таки мы успели поучиться по этим букварям! Всё же первые свои слова выводили по старым прописям, в которых есть красная строка и есть Родина — и она с большой буквы. И эту-то большую в нас не отменить.

DUM SCRIBO, SPERO

Однажды оговорился и вместо “Dum spiro, spero” употребил (“Пока дышу, надеюсь”) в известном латинском выражении глагол scribo (пишу).

Поначалу, как говорят, не придал значения. Но когда прочувствовал всю важность замены, понял, что она — не случайна, и это не я обмолвился, а кто-то свыше положил мне на язык более точное слово.

ПИСАТЕЛИ

Великие — как деревья во бору: в бурю шумят, скрипят, качаются, соприкасаясь вершинами, часто — бодая друг друга, да так, что только сучья летят... Но никогда не сплетаются и не захлестываются!

А заурядные — как трава в лугу: ветер дунул — и полегли, и сплелись-спутались, и попробуй угадать, кто где по отдельности.

КОРНИ

В буран упало дерево — наутро возле слома рыхлый иней:

корни ещё дышат.

Умер поэт — на сороковины несколько сотен просмотров в Сети:

стихи ещё дышат.

Разлетелись, как птицы в небе, — на Новый год СМСка:

любовь ещё дышит.

ПОЛЯНА

Вот что: в детстве я ничем не отличался от других. Даже был поозорней. Подкивочатей. Зачинщиком наших уличных дел. Но лет в тринадцать стал рифмовать — упоённо, беспамятно, как будто запел во мне весенний

глухарь. И вскоре заметил, что вокруг всё больше света, словно я очутился на солнечной поляне. Только с годами явилось понимание: света стало больше не оттого, что в мире сделалось светлей, а потому, что пришла ко мне поэзия — и все мои друзья расступились, как деревья в лесу, оставив меня один на один с этим светом.

ПСИХОЛОГИЯ ТРОПЫ

Пробредёт кто-нибудь по глубокому снегу, да раз и другой, снег вымерзнет, затвердеет — вот уже и тропа. И ты, если тебе надо в ту же сторону, обязательно встанешь на эту готовую тропу, случайно выйдя на неё в лесу, а тем более в открытом поле, и даже при том, что ведёт она не совсем верно, наматывая лишние сотни метров, всё равно двинешься по ней, вместо того чтобы срезать углы на пути к конечной цели. Идёшь след в след, спотыкаясь и чертыхаясь, если шаг человека, который прошёл до тебя, короче твоего, костеришь и того, кто проложил тропу, и себя, ею покорно пользующегося. Хочется идти полным шагом! И ни за что не пойдёшь, пока не кончится тропа. Наоборот, всё время ставишь ногу ровно на такую длину шага, которую предписал идущему за ним первопроходец, копируешь его движения, и хотя уверенно приближаешься к назначенному пункту, не знаешь, ты ли это идёшь и твоя ли на самом деле цель маячит впереди. И уж тогда приходит подлинное понимание — лучше превозмочь себя, сломать набитую бровку и пойти по чистому, нетронутому, проступаясь по колено, а то и по пояс, но зато и борясь, отстаивая право на свою длину шага, на собственный путь и собственную судьбу, словом, на “свою колею”, о которой талантливо спел Высоцкий.

СПИЧКА

Я задержался в зимнем лесу и, выйдя в приречный луг и уже некоторое время идя по нему, попал в метель, да такую, что стало белым-бело, а налетевшим снегом нахлестало по глазам, словно концом белого полотенца.

Вот бы и повернуть, укрыться за деревьями. Но в этом чаду как было угадать, в какую сторону идти, где лес, да и прошёл я немало, а следы занесло...

Это было обиднее всего: человек ещё тут, на земле, ещё жив и даже идёт через зимний луг на лыжах, а следов его уже нет! И никто не узнает, что в пути его подстерегла метель, что он шёл на неё шаткий, как травинка, но непокорный, наклоняясь вперёд и прикрыв глаза ладонью, чтоб не секло прапнелюю. А потом, в один грустный миг какого-то незримого расставания с самим собой, когда всё делается единым, что жизнь, что смерть, вдруг остановился, запаниковал — и потерялся...

Но я-то не запаниковал, я-то не потерялся!

Я, как целинный первопроходец, ломил только вперёд, невзирая на то, что метель зализывает мои следы, словно показывая, сколь на самом деле мал человек и как недолговечна память о нём, о жизни его, полыхающей спичкой в горсти. И, наконец, был отблагодарён тем, что отволгла, стала мягкой, а там и закончилась метель, — и это значило, что не она меня, а я её пережил! Выглянуло солнце, и нашёлся потерявшийся лес, с мохнатыми лапами в раскидку побежал — зимний, серебряный! — навстречу, когда я покатился с косогора, под которым дымил всеми своими трубами посёлок и полоскался на ветру трёхцветный парус над крышей сельсовета. В посёлке мой дом, в доме — люди, которые меня ждут, и книги, что я пишу, а их, может быть, тоже кто-нибудь ждёт. И, стало быть, недаром я был в пути и не зря, наверное, горела и горит спичка в руке Того, кто всё может: и зажечь, и задуть в свой срок.

ВЕЧНОСТЬ ГРЯДУЩАЯ

Идёт Нетёсов из магазина, несёт на плече пузатую сумку с продуктами, дымит сигаретой, скосив лицо чуть набок, чтобы дым не ел глаза. А впереди в валких синих валенках, закутанный во всё тёплое, семенит внук Артёмка. Прёт под мышкой трёхлитровую коробку с нарисованными яркими апельсинами, и тоже кривит лицо: посмотреть, тут ли дед, не отстал ли? А ещё, может, для того приглядывает за дедом, чтобы высчитать расстояние между ним и собой, а из этого, в свою очередь, сделать вывод, успеет ли он, Артёмка, испробовать вкусного натурального сока прямо на улице.

Вот, забежав далеко вперёд и, должно быть, удовлетворённый отрывом, останавливается посреди дороги, по-хозяйски зажав коробку коленями и согнувшись так, как будто собирается с подхвата взвалить мешок с картошкой, этакий мужичок-с-ноготок. Сняв пушистые варежки, круглыми крепенькими кулачками свинчивает пробку, сдёргивает полиэтиленовую чеку и — пьёт, подняв тяжёлую коробку обеими руками. И только парок, выдыхаясь изо рта на противоходе густой мякотной струе, курится над маленьким человеком. На ресницах у него блестят кристаллики изморози, ещё миг назад бывшей слёзной поволокой, выступившей на глаза от счастья и восторга жизни.

Отпив, Артёмка аккуратно закручивает пробку, внимательно следя, чтобы пла строго по резбе и как-нибудь не скovyрнулаcь, не пролила драгоценный напиток, после чего надевает варежки, зажимает полегчавшую коробку подмышкой и, придерживая свободной рукой, уже не семенит, а бежит, пугливо оглядываясь на улыбающегося деда. Сок в початой коробке шатается, как тугой шар. Синится морозная улица. В снежном вихре и выхлопе рваном мчит от реки “Буран”, и, как слюдяной околыш, играет на солнце лобовое стекло снегохода. Вокруг рта у Артёмки — оранжевая полоска, похожая на песчаный свей в пустыне. И я не знаю, кто во всём посёлке счастливей! Может быть, только я, вдруг узнавший себя в этом русском мальчишке, да вот ещё, конечно, его мама, к которой он сейчас прибежит, ввалится с мороза, краснощёкий, и от него, от волос его, упревших под шапкой, так нежно, неизъяснимо запахнет зимой, снегом, детством.

НЕ УНЕСТИ С СОБОЙ

В середине зимы, сомкнувшей свои ледяные руки-крюки ещё в конце ноября и уверенно опустившей красную жилку в термометре до минус 47 в декабре (а ближе к реке до минус 50 и ниже), вдруг с ночи обильно высыпала пороша. Облака наутро огромные, молочно-белые, с люминесцентным светом внутри. Едва ли не в каждом — дымная лохматая грива есенинской вздыбленной кобылы, медленное ржание её, оскаленный рот, задранная морда, звонкое копыто. Из-под него летят и летят на землю, на крыши посёлка, на шарфики и капюшоны местных модниц щедрые январские комья, рассыпаясь в воздухе сверкающей пылью. К обеду и вовсе припекло. С акации сам собой падает снег, но не так, как ещё неделю-другую назад, — провисая под собственной тяжестью, а как бывает на повороте к весне, когда пробудившаяся ткань деревьев нагревается от солнца, снег час от часу подтаивает, наконец, рвутся все связи — и снег соскальзывает с провисшей ветки, а та, отряхнувшись, высвобожденно пружинит, на глазах — дышащая, живая — покрываясь нежным инеем.

С южной стороны школы уже кляётся первый птенец: на жестяном карнизе окна второго этажа подтекла снежная корка и начала капать на карниз окна вниз. А в лесу за рекой заиграла музыка (должно быть, из автомобильного проигрывателя), стали слышны голоса людей. Ребятишки, пока взрослые жарят шашлыки, бродят в глубоком снегу, сощипывая мёрзлые ягодки шиповника, не склёванные клестами и снегирями, или катаются с пригорка, оседлав кусок фанерки, которую они спереди загибают полозом. И почему-то вспоминаются девяностые годы, детство бедное моё, когда ели

китайскую лашу прямо сухой, ходили с ней по деревне, словно с каким-то чудо-лакомством...

Хорошо бы сейчас идти по лесу на охотничьих лыжах, сняв жаркие шубенки и сдвинув шапку со лба, и видеть, как вчера — в серебряной скорлупе от мороза, а сегодня — контрастно, влажно сереют на фоне снега и зелёных пышных кедров большие ярко-коричневые лиственницы, а на них сидят пушкинские белки и грызут золотые орешки!

И ещё: дядя Миша Чупров, живущий теперь с больными родителями в Железногорске, прошёл по улице. И, Господи, от него тоже повеяло весной! Весной жизни моей, когда дядя Миша жил на Береговой, вывозил снег под угор в старой цинковой ванне или сидел, накинув ногу на ногу, на лавке у ворот и курил сигареты “Луч”. А я дружил с его кудрявым сыном по прозвищу Пушкин, и мы с ним наперегонки плавали через быструю Лену, кидали спиннинги за Борисовской протокой или ставили дяди Мишины капроновые сети в щучьей заводи за брустверами, а то, разжившись у совхозных шоферов бензином, весь день, как оглашенные, гоняли по деревне на трескучем “дырчике” системы “Восход”!

И Пушкину Александру Сергеевичу нынче — поминование, день его гибели на Чёрной речке, чёрный день русской поэзии. Может быть, и поэтому что-то стронулось во мне, и это как-нибудь, да сказалось! Ведь в тот день по старому стилю много лет назад снег тоже был влажный, и не только от крови...

Теперь, когда пишу, на улице минус 6 в тени. Небо уже замутилось, нет больше есенинских светоносных кобыл, и ветер толкается в шаткие стёкла, наклоня сухие травинки во дворе. Вот пробрасывает крупный, узорчатый, какого не бывает — не должно быть! — зимой. И сейчас пойду слушать, играет ли музыка за рекой, и смотреть, резвятся ли дети, клюётся ли птенец, идёт ли дядя Миша по улице...

Музыка замолчала. Но ветер — тёплый, и когда швыряет в лицо снежинку, она осязаемо тает от соприкосновения с кожей. Слышно, как высоко на сопке колтыхаются деревья. Облака — скорее фиолетовые, чем синие — мчат над лесом: попробуй останови! И само собой является понимание, что всё, что задумал, вовек не напишу, даже имей я семь жизней. Поэтому надо налегать на эти записульки — не затем, чтобы самому остаться, а чтобы не унести с собой, уходящим, то, что не должно уйти. Например, вот этот первый весенний день в конце морозного января 2013 года, когда смолкла музыка в лесу, но ветром раздувает деревья на сопке, и пусть до настоящего тепла ещё не так близко, зато тем учащённей, зримей дышит проснувшаяся ветка, и ты умеешь это видеть, а значит, и в тебе всё бодрствует, и хотя зрячесть эта, как всякое знание, таит многие печали, всё же она и спасает в чёрный день, позволяя остановить мгновения жизни и дать высмотреть в них такие дали, о которых ты и не догадывался, а те, в свою очередь, отверзаются подлинно неземной высотой, вечной алгеброй бесконечных смыслов, и если есть они, эти прозреваемые богоданные дали, следовательно, и в смерти, вообще в уходе нет никакого тупика, а скрыта лишь очередная даль, ещё не высмотренная и не познанная.

КРАСНАЯ РОЗА

На днях умер Колька Серогнедов. О нём, вернувшемся из областной больницы после долгого лечения, и когда уже знали, что у Кольки — сахарный диабет, сообщил его дядька Волосюк, развалясь на мягком сиденье рейсового автобуса, из которого днём ранее Колька вышел в родном посёлке:

— Не жилец!

Было это в начале нулевых. И я, помнится, в свои семнадцать-восемнадцать ужаснулся этому “не жилец”...

...Ему в мае исполнилось бы тридцать. Очень худой. Смуглый. Остроголовый. До болезни работал в клубе диджеем. Выпивал и курил. Как все. Зависал с девчонками. Потом ходил со специальным тестером на животе...

Мы с ним не здоровались.

Я вернулся с реки, где проверял уды на налимов, и стаскивал с ног обмёрзшие бахилы, когда мама сказала мне о Колькиной смерти:

— Сели они в четвёртом часу попить чаю, потом он встал — и его как затрясёт! Подхватили, положили на диван. Мать кинулась за медиком, а Иван, отец, выбежал на крыльцо, крикнул ей, что — всё, умер Колька. А она не слышит, бежит...

Когда в деревне умирают молодые, стареет деревня. Ощущение личной беды и в то же время — глубокого народного горя. И мужики, которых обычно много на похоронах, говорят: “Ну вы чо, молодёжь?! Берите гроб, это же ваш ровесник...”

И сразу — ветер со снегом. Белый ревуший мрак над посёлком. Вой собак и проводов. Ужас хлопающих калиток.

Одна из техничек, Полина, накидывая синтепоновый капюшон, когда я пришёл на смену, сказала:

— Теперь будет выть, пока не похоронят. Как покойник, так воет... Хочешь сигарету?

Раскурили на ветру. Искры — алые, бессмысленные — улетали во тьму и там гасли.

Страшно подумать, что теперь в доме Серогнедовых. Стоял ночью у окна, слушая ветер во дворе, смотрел на три жёлтых прямоугольника на другом конце посёлка, в крошечной черноте. Думал о покойном брате, вспоминал вялое бессилье жизни в те июньские дни, когда его не стало...

Позади замедляет лыжню, ветром распахивает полы суконной куртки, и долго разрываешь снег, отыскивая прорубь, — провезли Кольку. Опершись на пешню, смотрел с берега Лены, как одна за другой ползут машины и краснеет в кузове головного “КамАЗа” крышка гроба, приставленная к борту. И не было слышно автомобильных гудков, которые заглушал ветер. Лишь пихтовый лапник валился на дорогу, помечая последний Колькин путь в снежной пустыне — туда, где остроносым мыском расклинивает жизнь и смерть сосняк деревенского кладбища.

Проверил несколько уд, отпустив обратно в реку небольшого налима, а машины уже едут обратно. Скоро уходит человек.

Шёл домой, забросив лыжи на плечо, — на дороге в Старых Казарках лежит яркая красная роза. Может быть, кинули одноклассники. Или девушка, которая когда-то любила, а сегодня пришла тайком от мужа, встала в сторонке, смаргивая с ресниц слёзы и поднося ко рту пушистую варежку. Ведь, наверное, нас хоть однажды, но любят, и кидают нам вслед живые розы, убегая к нам, уходящим, от детей, от мужа, от женской тоски.

Навстречу — копальщик Нечай и его сожительница Тамарка по прозвищу Чекушка — та, что помыть-убрать. Тихо поздоровались, возвращаясь с поминок. Молчаливые, простые. Уставшие. В руках — шуршащие на холоде пакеты, в которые им положили куски рыбного пирога, блины, котлеты. Бутылку водки.

Это их работа. Хлеб.

...Ветрит, ветрит, ветрит. Третьи сутки подряд быются над сугробами особенно высокие травинки, но и те задувает с маковкой. И всё нейдёт из головы, что Колька Серогнедов первую ночь лежит в сосняке за селом, посреди заснеженного поля, глубоко под землёй. А над ним скребёт и воет, и клубится ледяным прахом, и качаются кладбищенские деревья, скрипят сорвавшиеся с привязи ржавые калитки, сваренные из арматуры. И так же, как при нём, искрят провода, тикают стрелки в часах настенных и методично стучает в стену дома подвязанный к крыше водосточный жёлоб. Только Колькины родители всю ночь не спят, боясь погасить свет, листают семейный фотоальбом и на глазах стареют.

А ещё я представил, как и в мой вечерний час что-то зашатается во мне, словно на крючке огромная рыба. Затем рванёт в последний раз, остро дёрнув мордой возле сердца. Ещё немного погуляет, как в проруби, раз и другой промелькнув хвостом, — да и уйдёт навсегда. И вдруг навалится страшная слабость оборванной лески, это молчание на том её конце, который, —

сколько ни выбирай, там край, пустота, финиш, — тянется мёртвой ниткой. И ничто уже не запарусит, не взбурлит, не взрежет плавником...

И вот уже везут с лилово-синим. И всё, как у Кольки. Только без розы. Без варежки у рта.

ВРЕМЯ СЛЕПЯЩИХ СОЛНЦ

Ясные, с бодрящим ветром дни начала марта. Красная гусеница в термометре медленно, но уверенно карабкается вверх и к обеду доползает до минус 22, которые кажутся почти южным — курортным — теплом. К этому времени над всякой деревянной постройкой, будь то сарай или баня, взвивается голубая испарина, выступает тёмная влага на окончаниях крыш — там, где формируются первые, едва заметные сосульки. На теплотрассе чем дальше, тем больше ширится пятно раскисшей земли со снулыми прошлогодними травинками, и эту чёрную полянку с галдящими воробьями, этот кипящий уголок жизни посреди белой мертвенной равнины видно издалека, как остров в океане. Но главное, что снег уже слепит нестерпимо, слёзы склеивают ресницы, и ходишь так-то по двору со слезящимися, как у старика, глазами, вспоминая, что в эту пору мама поила тебя морковным соком — по оранжевому стакану каждое утро. Да только когда это было? А, впрочем, не вовсе ушло, коль скоро и нынче глядишь на мир, словно в детстве сквозь тончайшую обсосанную льдинку, выбитую каблуком из чистой замёрзшей речки. И, как в детстве, особенно остро видишь то, чего потом, с уходом этого времени слепящих солнц, не будет в твоей жизни. И, может быть, уже никогда! Не потому, что на самом деле и в помине не было, а оттого, что льдинка иссохлась и растаяла, оставив чуть горькое послевкусие, как иссякшая жизнь, должно быть, возблагодарит таким пониманием о себе самой, которое лишь в конце и возможно.

ТОРОСЫ

Второй день ветер, да такой, что только гул в проводах, ходуном — отпахнутые калитки, дугой — деревья в палисаднике. И снег, снег! Его не сыплет с неба — оно в эти дни совершенно заткнуто, — а несёт отовсюду: с крыш, с поленниц, с торцов огородных столбиков, как бабушка на краю столешницы пересыпала из одной горсти в другую гречневую крупу, отдувая половину. На реке выдуло торосы, образовавшиеся во время становления льда. Выдолбленную и очищенную прорубь на глазах заносит позёмкой, в снежной ватной плёнке чернеет сырой кружок, сквозь который дышит ворочающаяся подо льдом вода. И чтобы вылить ведро, нужно встать спиной к ветру, иначе распуснит широким веером мимо фляги...

Снова пробовал что-нибудь начать, даже просмотрел юношеские, совсем давние наброски. Почти забытые, они, как эти торосы от ветра, обнажились теперь, в пору затянувшегося молчания, когда арктически бел и безлюден тетрадный лист и вся забава — шелушить старьё в надежде, что за “тысячей тонн словесной руды” промелькнёт живительная крупинка, этакий драгоценный золотой камушек на дне лотка, вообще высечется спасительная Божья искорка, а там, как в песне, возгорится пламя. Но провозился всё утро, переворочал прорву макулатуры, забраковав большинство и отложив несколько, как мне показалось, жизнеспособных черновики, а всё-таки ни на чём душа не обмерла так, чтобы это задыхание, затихание перед радостью большой работы не исчезло раньше, чем пальцы потекут по клавиатуре. Бросил всё, взял беговые лыжи и пошёл в лес — “выгуливать” голос. И едва встал на лыжню, вместе с первыми взмахами лыжных палочек подхватил в себе стих (увидев хмурых нахохленных ворон, обсевших тяжёлые от снега ветки сосен):

*На жёлтых соснах кричат чёрные вороны,
Через луг пролегли лисьи тропы,
Я не боюсь волчьих набродов!*

Дальше этого мысли мои не раскатились, не разбежался стих, толкаясь палками ударений. Нет, вороны по-прежнему кричали — сыро и громко, в лугу ветвились волчьи и лисьи переходы, а лыжня, как волшебная игла, прошивала перелесок за перелеском, пока не соштонала эти осиновые и берёзовые доскуты в сплошную тайгу, где смертный человек теряется совершенно, становясь не значительней сломанной кедровой лапы или заснеженным пня. Но сколько я ни пыл по сиплому зимнему лесу, под серым ненастным небом, в котором куском сливочного масла таяло февральское солнце, стих так и не шевельнулся во мне, вероятно, потому, что не нашёл, чем ему прежде стать в жизни. И что толку было колоть карандашом страницу блокнота, а снег — лыжной палкой?

Ну, да ведь надобно и отдохновение от творчества! И, может быть, для того они и даны свыше — эти часы обнажившихся черновиков и торопов, чтобы присмотреться к себе и отыскать что-то самое главное, образующее по сути, чего раньше, при былой полноте жизни, не замечал и только теперь, в гулкой бочке молчания, обнаружил отсутствие этого и живо почувствовал необходимость в нём, острую настолько, что, пожалуй, и возобновлённая работа не восполнит эту пустоту, лишь сократив пропасть расставания между тем, кем ты был и кем сделался сейчас, по истечении назначенного срока, когда ещё ничего не нашёл, но уже осознал важность и providенциальность самого поиска.

ЯЗЫКОТВОРЦЫ

Трудно, подчас мучительно ехать с земляками в пригородном автобусе, всё время, — а до райцентра езды полтора часа по разбитой гравийной дороге, — опасаясь какого-нибудь подвоха, громкой шутки в свой адрес, дошнших расспросов насчёт “прототипов”, а то бесцеремонного окрика: “Эй, писатель?! Не стеклянный, не загораживай обзор...”.

Но бывает и радость от таких поездок, и уж она-то с лихвой окупает все твои терзания и опасения, чаще всего надуманные. Как, например, радость от живого меткого разговора, что ни в каких книжках не вычитаешь, ни за каким столом не высидишь, а уж в столицах тем более не высосешь из пальца. Свидетелем одного такого разговора стал недавно в переполненном по случаю субботы салоне “ПАЗика”. Разговорились муж местной фермерши, который продал в городе творог и сливки и выехал обратно остограмленным, и охотник с верховий речки Королихи. Этот ещё утром тормознул автобус на трассе, на выходе из тайги, занёс “тозовку” и рюкзак, а с вечерним рейсом, вероятно, купив продуктов, уже возвращался — была осень, вторую неделю лежал снег, самое промысловое время. Муж фермерши, отхлебнув из чекучки, по-свойски спрашивает у охотника, с которым они, судя по всему, знакомы:

— У тебя, говорят, сука́ потерялась?

— Убежа-ала... — затягивая на рюкзаке хлястик подгоночного ремня, невесело признаётся охотник. — Су́ка.

— Сука́, — если по правилам русского ударения, — возражает муж фермерши. — Су́кой она стала, когда убежала...

Все, понятно, так и прыснули! И сразу поехалось веселее, несмотря на давку, духоту, усталость от дня, проведённого в городе. И я, вытирая слёзы, набежавшие от смеха, подумал, что вот услышишь нечто подобное — и всё-всё простишь людям, а потом и устыдишься самого себя — оттого, что ждал от них мелкой пакости, а они не только пакость не сделали, но и одарили бесценным богатством, имя которому — язык. И ничего-то — земные, грешные — не попросили взамен. Да и что бы ты, интересно, мог им дать?

АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ

Отступили холода, и корову стали выгонять во двор. Но вот снова приморозило, корова осталась в стойке. За завтраком трёхлетняя Вика спросила, почему ещё вчера Красуля паслась в загоне, а нынче нет. Ей объяснили, что на улице мороз, корова может “простудиться”, и у неё не будет молока. Вика как будто согласилась с этим аргументом, но увидела за окном пролетевшего воробья и воскликнула, возмущённо показывая ему вослед ложкой с остатками манной каши:

— Так птички-то летают!

ВЕСНА ЖИЗНИ

Последнюю неделю дни особенно тёплые, солнечные, с капелью. И уже нет испарения от обогретой земли проталин, от подсыхающих тротуаров, крыш и поленниц: весна наладила дыхание, дышит легко и чисто.

Снег тает медленно, как сахар в кружке с остывшим чаем. Это не оттого, что солнце греет лениво, — светило не сходит со своей вышки до ночи и даже мартовские дымные облака ему не завеса, — а потому, что сугробы глубоки, гусеничный трактор, таскающий через реку лесины, вязнет по самые ступицы.

Открыты двери стаяк, но из них уже не идёт пар: на улице тепло, как в стойке. Можно читать на воздухе, выставив кресло на крыльцо. Вчера я даже вынес столик и стул и сидел на пригреве.

Таять начинает ближе к десяти. Сорвётся с крыши отлитая дробина и, промелькнув мимо окна, тюкнется в длинную, почти до земли, лунку в сугробе, проклёванную за минувшие дни. А к обеду закапает вовсю! И шумные восьмиклассницы идут из школы с непокрытыми головами, а из желобов, как из раскупоренных бутылок шампанское, шипит, брызжа на тротуар, на склонённые ветки черёмухи, на страницы блокнота.

И так до поздней ночи! Но и тогда сквозь раскрытую форточку нет-нет, а заслышитесь, как прошла рыхлый влажный снег последняя в этот день капля...

Утро встречает новой капелью. Она ещё звонче, веселее, и не отливает дробинки, а строчит быстрой многоножкой по верёвке, привязанной к концу жёлоба. “Тиу! Тиу! Тиу!” — в цинковую ванну, на дне которой — серая пыль крыш, сухих дорог, минувшего лета и вообще чего-то такого, что было, чудится, давным-давно, ещё до твоего появления на этом свете, и оттого есть своя трогательность в каком-нибудь истлевшем листике или пучке голубиноного пуха. И вдруг привидится, что тебе снова семнадцать, и что не весенняя капелька струится по обмёрзшей верёвке, змеясь и сверкая, а твоя вчерашняя подружка, подобрав подол, с голыми коленками сбегает к тебе по университетским ступенькам, и впереди у вас тёплая июньская ночь после экзамена...

Благословенное моё, когда корова с раннего утра в загоне, куры к обеду выскакивают из кутуха на свежий снег, громко кричат и скребут яркочёрную золу, а кот всю ночь сидит на заборе и морочит голову соседской кошке!

Ничего не пишу, скитаюсь по ограде да подмечаю, что делается в мире. Нынче я не разбрасываюсь на пометки вдоль тетрадных полей, всё храню в себе. Пусть, как в цинковой ванне летошняя пыль, отстаиваются ощущения и воспоминания жизни. Настанет час, когда исподволь пойдёт вдохновение и всё, что бережно копил, взбурлит и польётся с брызгами: “Дзынь! Дзынь! Дзынь!” — прямо на страницу по жёлобу карандаша. И, может, лязгнет шпингалет калитки, и войдёт она, и окликнет по имени. И будешь рад, счастливчик, целовать её босые ступни, которыми она шла к тебе по льду, по уголёчку, по шаткому мосточку...

Это и будет моей весной, весной творчества, весной жизни.

БОЛЬ НЕГАСИМАЯ

Вышел в первых рассветных сумерках — сработала сигнализация, словно улюлюкнула ночная птица. Это сосед тоже вышел из ограды напротив, пнул колесо, проверяя давление, а затем взял из машины сигареты, покурил и ушёл, оббив на крыльце снег с башмаков. И снова тихо. Слышно, как над ельником летит ворон, с юключным свистом взмахивая крыльями. Шелестит на ветру плёночка от сигаретной пачки, и оттого ли, что грядёт минута расставания, цвет небес глуше, а боль негасимей...

— Снег навалил, — придя домой, сказал, наверное, сосед и обвёл жену холодными руками. И та вздрогнула во сне, как молодая.

...От ветра мягко и легко в посёлке. Макушки тополей — в снегу, а нижние ветки — в бисере сверкающих капель. На белом свежем фоне черны, как никогда, эти старые избы, бани, поленницы, ворота, дымящийся навоз в проулке. И по вечерам долго не загораются уличные фонари, а по утрам долго не гаснут.

ЖУРНАЛИСТИКА

Она для писателя, конечно, хлеб — не столько сытный, сколько доступный, тем более что художественное слово давно никого не кормит, скорее, обирает до нитки.

Но и смертный крест она — журналистика, и крест этот, пожалуй, тяжелее собственно писательского, потому что — чужой, несомый в полспины. А свой-то крест, как известно, и нести себя помогает.

И, конечно, да — накормит, по крайней мере, не даст помереть с голоду. И впряжёт в лямку, дисциплинирует и организует, что для писателя, согласимся, важно.

Однако двух равных любовей не бывает, и нельзя служить Богу и мамоне. И писательство никогда не простит тебе, подвизавшемуся строчить статьи для газетки, и рано или поздно, но отквитает глухотой к своему Слову за те скороспелые поделки, что творишь с плодовитостью крольчихи единого хлеба ради.

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Ехали однажды по Иркутской области с писателем из Тюмени. И того, помнится, всё время интересовало, в каком направлении Ангара и откуда, от какой гидроэлектростанции тянутся эти провода. Проезжали небольшую деревню, одну из тех, что при Советах худо-бедно, но жили-были, а нынче и вовсе на ладан дышат. А на брёвнах у тракта, накрыв нехитрую полянку, гомозились подвыпившие мужики, курили и орали во всю матушку. И писатель, сидя за рулём, снова спросил, где теперь Ангара и от какой по счёту ГЭС ангарского каскада запитана эта деревня. А я, глядя на этот праздник жизни, на пир во время чумы больше похожий, вернулся к старой, давно волновавшей меня мысли: а что, интересно, в XXI веке поют деревенские мужики?

А ничего не поют, как будто лом проглотили. Лишь мат-перемат да дым коромыслом. Иногда, впрочем, кто-нибудь скажет припевку, слышанную от отца или матери, да и то — со стеснением, словно стыдясь самого себя и припевки этой. Да не скажет даже, тем более не пропоёт, а вынет из души, как носовой платок из кармана, и бросит, скомкав, оборвав на полуслове. И тогда поймёшь, откуда оно — твоё отчаяние и ощущение ненужности себя в этой жизни, лишь по временам сменяемое радостью от неё. Отсюда, от этих самых русских людей, что больше всех дали, но и больнее ударили, когда перестали слагать и петь свои песни. И при чём тут Ангара, провода, гидроэлектростанции? Народ перестал петь, вот что. Проводами опутаны со всех сторон, а запитаться не от кого. Только язык и остался — последняя запитка.

ГОЛУБЫЕ ОРЕШКИ

На исходе марта снег в лесу посинел и размяк. Ещё с утра, впрочем, хрустит под ногами, как битое стекло, и падает мёрзлыми комьями с чашечек лыжных палок. Но ближе к обеду, когда в посёлке уже вовсю строчит, и здесь, в тени леса, с отсыревших веток начинается капать. То глухо, как в сукно охотничьей куртки, то с шорохом, как если бы на вытаявший прошлогодний лист или страницу блокнота. Спустя день-другой под ветками — будто птицы шукали в сугробе длинными клювами. Что бы они могли искать? А голубые орешки, из которых вылупятся подснежники. По просеке, на опушке, вдоль дороги. Там, куда скорее заглянет солнце. Где ему больше места. Где выше сугробы, а работы — непочатый край...

И в блокноте у тебя тоже вдруг ворохнутся голубые орешки, и ты ищешь их клювом карандаша! Но пока ни стихов, ни подснежников нет — слышен шёпот в лесу. Это ветер. Он качает деревья. И брызжут капли в лицо. И закрываешь блокнот, чтоб, не дай Бог, не размокли твои стёжки-дорожки, и скорее отступаешь на просеку. Но там ещё больший ветер, а с молодых ёлочек падает и падает снег. А качнёт ветку кедра — ухнет снежный куб и рассыплется в лучах солнца золотыми перьями, словно сказочная птица снялась и полетела. И ты, как чумной, побежишь за ней, теряя страницы блокнота. Туда, где она скрылась от мира. Через лес, как сквозь черновики. К пробудившейся в тебе и вокруг поэзии, к её голубым орешкам.

ПТИЦАМ НА ГНЁЗДА

Всё воскресенье просидел дома, маясь своим творческим межсезоньем, а когда надумал выйти на улицу — день почти закончился! И тут, и там не поспел.

Ходил к ельнику, надев кирзовые сапоги. Травы прожгли снег. Кое-где — рыжины голой земли. Снег расплзается под ногами. Звенькает, хрустальный.

Чесал Шарика расчёской, и ключья шерсти летели по ветру — птицам на гнёзда. Вот и вся польза от меня в этот день. Но и уверенность, что он прожит не зря, а то и с бóльшим толком, чем если бы я написал рассказ или стихотворение.

ХЛЕБ

Ровесник. Одноклассник. Земляк. Друг детства: бесились и скакали, раскачивая тракторную телегу без колёс, поставленную на четыре чурки у забора. С граем рассыпались за дорогу, когда выбегал дядя Аркаша, хозяин тележки. Барахтались уже с утра в реке, а накупавшись до дрожи, подпрыгивали пузами на перевёрнутых дюралевых лодках, как поджариваемые рыбёшки. Вытряхивали песок из босоножек. Тикали в лес, искали выпущенные стрелы, продев с головы — тетивой наось — черёмуховые луки. Хрумкали украденным в огороде огурцом, сломав пополам. Шкрябали ладошки гвоздём, братались кровью. Клялись сердцем матери...

Стрелы разлетелись, ранки заросли. Река обмелела. Мамы — поседели. Чёрным облаком угольная копоть вздымается рано утром над поселковой котельной, оседая на крышах домов, черня снег зимой и летом — траву на лужайке. Это Лёха буравит бульдозером шлак — ещё горячий, дымящийся, вспыхивающий кровавыми дьявольскими глазами, опадающий красным рваным ртом. Столкая в огромную кучу, уже выдавившую несколько пролётов забора, глушит бульдозер под окнами котельной, идёт домой топить баню — чёрный, как чертёнок, с сажей в ноздрях и ушах, с шершавой маркой осыпью в ложбинках под глазами. Деликатно подаёт при встрече выгнутое кулаком книзу запястье правой руки...

И, конечно, благодарно пожимаешь это по-мужицки тяжёлое, набрякшее запястье своей чистой рукой. При этом такое ощущение, что не его, а мои руки черны, как будто я в чём-то сжулил, схимичил над нашими судьбами или помог схимичить тому, кто дал: одному — рычаг, другому — карандаш, первому — толкать горы шлака, второму — громоздить слова на бумаге. И всегдашнее жалкое желанье: сломав, поделиться, как в детстве, половинками, чтобы я попробовал — его, а он — моего! Но и горькое убеждение, что из двух половинок только его — трудовая, только его хлеб — не даром.

ВОЗДУХ

Под вечер ходил на Казариху ломать вербу. И снова — много облаков: синь, свет, тень, свинец, золото, алая окалина — весь набор из школьных акварелей! За огородами налились лужи, и в них отражалось солнце, а когда исчезало за облаками, делалось отчётливо сине и ярко-пасмурно, как бывает в апреле. И дул ветер. Сыпал редкий снег. А собаки устало кричали во дворах, над которыми рвало дым топившихся бань, а то, встав передними лапами на изгородь, молча смотрели, кто это там идёт в поле, и ревниво нюхали воздух: свой ли?..

Так было и сотни лет назад, и даже в прошлогодней записи об этом дне накануне Вербницы — всё то же. Ничего не меняется под этим вечным небом, на этой вечной земле. Только мы — идём, идём и однажды — проходим, как этот снег. И вот нас уже нет. Нас уже забыли. Лишь собаки смотрят сквозь изгородь туда, где мы ещё недавно шли, и нюхают воздух, и знают, что хотя нас уже нет, но ушли мы ещё недалеко.

РЕВИЗИЯ

Разбирая юношеский архив, содрогнулся: сколько печатных машинок разбил, а поэтом не стал!

ПОЭЗИЯ И ШЕСТЕРНЯ

Снег в марте. Печатная автомашинка “Гост 8274-57”. Тетрадный листок. Лёха с шестернёй в руках...

Как давно это было! А казалось, ещё вчера выждал, когда все уйдут, шмыгнул в детскую, вынул из футляра печатную машинку, которую днём ранее взял у мамы на работе. Перемотал и поправил старую поклёванную ленту на катушках, вдыхая увядающий запах чернил и резкий — пыли, за много лет накопившейся между клавиш. Вставил снятый со скрепок школьной тетради и подогнанный по ширине чистый листок в клеточку с красной памятной линией, очертившей поля. Раз-другой крутанул ручку, провернув лист через барабан и заправив за специальную линейку выдвинувшийся по эту сторону барабана конец листа. Нашёл глазами и тюкнул указательным пальцем по клавише, отбив абзац — начало начал...

Спустя час-другой выкрутил обратно. С восторгом перечитал, не веря, что эти отливающие свежим свинцовым блеском стёжки-дорожки — мои. Взял в обе ладони. Понёс, как живую воду в блюдце, боясь расплескать. Спрятал под футляром, как под камнем на главной своей дороге, неожиданно разветвившейся на три:

Налево пойдёшь — никуда не придёшь.

Направо пойдёшь — ничего не найдёшь.

Прямо пойдёшь — ни за грош пропадёшь...

Пока обедал, пока поил бычка в загоне — несколько раз бегал в детскую. Вынимал. Поедал глазами. И не было предела счастью и свету. Бычок шумно фыркал и пускал пузыри, сунув морду в ведро. Ждал, когда доберётся до картофельных очистков. Хрустел, зажмурясь от наслаждения, первыми. А я ждал маму с работы, чтобы показать листок с первым своим. И тоже, наверное, жмурился — от ожидания...

Пошёл снег. Крупный. Мягкий. Весенний. Запорошил двор. Стог. Спину бычка. Нижние ступени крылечка. Навис шапкой на крышке почтового ящика. Временами из-за облаков проглядывало солнце. Накалялось, как лампа советского телевизора. Давало тепло. Свет. Кот шёл по тротуару, макая лапы в снег. Подошвы — влажные, чистые, розовые. Ярко-красен — язык, которым вылизывал между пальцев, сидя на поленнице. И было тихо-тихо, как бывает в таёжном посёлке на развилке зимы и весны, когда зимнее давно поделано, а весеннее ещё не начиналось. И близился вечер. Но мама ещё не пришла с работы. И было тепло, текла вода вдоль оконного штапика, а в палисаднике отпотели рябины — крепкие, загорелые, как деревенские девчонки в бане...

В стекло прилетел снежок, распался белым взрывом — это Лёха, закадычный друг, вызванивал на улицу. Принёс надломленную сигарету “Magna” и небольшую шестерёнку от комбайна. Сигарету тайком выкурили, зажимая пальцем разрыв, через который сочился дым. А насчёт шестерни Лёха сказал, что они с братом собирают игрушечный трактор на электромоторе от стиральной машинки и вот-вот соберут...

Слушал рассеянно. Как дикость. Нечто вторичное, будничное, однообразное. Недостойное слуха. Но прощал другу эту будничность. Жалел его, ведь у него не было праздника. Света. Снега. Отпотевших рябин. Первого стихотворения. Не у него, а у меня сочилась из души радость, как дым из порванной сигареты. Я курил её, эту радость, — воровато, стыдясь своего воровства, но и боясь, что попросят и отхлебнут. И всё равно ничем её было не удержать, не соединить разрыв! Скорее бы пришла мама с работы...

И откуда тогда было знать, что не я — Лёху, а он меня должен был пожалеть? За этот свет. Снег. Отпотевшие рябины. Тетрадный листок под футляром от печатной машинки — как под степным камнем, от которого куда ни пойдёшь — никуда не придёшь, ничего не найдёшь.

Ни за грош пропадёшь.

ЛЮБОВЬ

Кучум подбежал, обнюхал Дымкину голову. И вдруг нежно, всем языком лизнул в коричневый нос. И все засмеялись: “Любо-о-овь!” А Кучум просто слизнул крупинку шпённой каши, оставшуюся у Дымки на носу после утреннего кормления.

Я умилился, наблюдая за этой сценой. Но и вздохнул: нет в любви бескорыстья, всё время что-то нужно любящему за его любовь. Ведь только для красного словца брошено: “Мне всё равно: ты любишь или нет!” А на поверку-то вовсе не едино, и это легче всего доказать, условившись, что не было на носу у Дымки никакой каши, или припомнив, как часто мы сами любим и ничего не просим взамен, даже малого ответного участия.

ПЬЯНИЦЫ

1

Утопил шерстяные варежки в луже недалеко от магазина — к утру вмёрзли в лёд. Стоит над ними, качаясь с пятки на носок. Минуту, другую. Третью. Наконец, загремел засов. Зажглись огромные окна магазина. И он тоже весь засветился. Плюнул и пошёл за бутылкой...

Он, оказывается, не о варёжках горевал, которые потерял вчера, возвращаясь с очередного сабантуя, а ждал, когда откроется магазин! И уже понятно, что день для него прожит, и хотя солнце только-только встало над посёлком, ничего нового и хорошего сегодня уже не будет в жизни этого деревенской пьяницы.

2

А между тем: ни в ком так не хранится история народа, рода, родной деревни, как в ином деревенском пьянице. Спроси такого, где до революции стояла церковь, так он не только покажет, но и расскажет, кто эту церковь ломал, в какой избе живут их потомки и какого года царский медяк нашли в основании. Справься о том же у его очкастого городского брата, который раз в месяц приезжает в деревню — картошки взять на халяву да водочки попить, пока баба не видит, — начнёт сопли жевать:

— Затрудняюсь ответить... Дед рассказывал, да я забыл... Надо было записывать...

Я долго ломал голову, почему так: пьяный помнит, а трезвый — нет? И только недавно, как мне кажется, нашёл ответ. Пьяницы (а также калеки, слабоумные или просто непутёвые, имеющие какую-либо щербинку, тем более изъян либо особенность, принимаемую за изъян большинством людей) — ближе к матери, к сердцу, к Богу, и от этого — горячее. Не зря о таких говорят — убогие. Они живут — сердцем, и помнят — сердцем. Всё, все впечатления и знания жизни естественно отображаются в них, как в воде, а в наиболее восприимчивых сохраняются в нетронутой подлинности до гробовой доски. Между тем как трезвый — что и холодный. К сердцу крайний. В одно ухо впустил — из другого выпустил. А если что и останется в закрайках — потеснит новым для себя знанием, которое вместе с университетами, театрами, музеями, библиотеками и тому подобным составляет корневину его нынешней жизни.

Это не значит, конечно, что обязательно все успешные, состоявшиеся люди, вчерашние жители деревни, — беспамятные. Совсем нет! Но в убогих родовая память заметно резче, обнажённой, и уж если есть, то почти всегда не скупая информация, а — живое народное свидетельство. Поэтому так много истинно национальных поэтов — из деревни, ведь и деревня — ближе к сердцу, к Богу. Оттого-то многие из них — пьяницы, и участь их горька, слава дурна, век — короток, а дар — бессмертен.

ПАПКА ВОДИЛ

Вспомнил недавно “Печки-лавочки”, слова Ивана:

— Пойдут дети в школу, станут проходить море, а они уж там были! Скажут: нас папка маленькими возил...

И ещё — его воспоминание о поездке с отцом в Берёзовку...

А я вот тоже запомнил из раннего детства: пошли с отцом на берег весенней Лены, стали кидать камни в звенящий, осыпающийся стеклянными иглами лёд, который сломало и понесло. Вернулись домой — я первым делом расхлестнул стекло в сарайчике (вообразив, что это тоже — лёд). Отец взял шнур от сгоревшего кипятильника, проложил границу между поэзией и прозой. Так что и теперь, сидя по многу часов за столом, я всегда помню, где эта граница.

В КОНЦЕ АПРЕЛЯ

Вот и снега в лесу почти нет, только льдисты дороги да в зарослях пушистого подростка — обломок охотничьей лыжни. Но всё ещё напоминает о зиме: и холодный утренник, и пустые, безлистые ветки кустарников и деревьев, и мёрзлый, всё равно что пересыпанный солью мох, по которому увядшими тёмно-красными кровинками разбрызганы ягодки отзимовавшей

брусники. А в мизинец толщиной осколяпок берёзки, сломанной по осени на метлу, ещё не почернел на месте разрыва, и рваный торец так хорошо, как серебряная монетка на грязи, виден среди тёмных пихт и ёлок.

ВОДА И КАМЕНЬ

По телефону — с учительницей русского языка и литературы (о литературных страницах, что я делал для газеты):

— Большое спасибо! Настоящие поэты. Хорошие стихи. Нам надо знать. Вода камень точит... — И т. д.

Камень точит... Как самому, точа, — не источиться? Когда ты сам — вовсе не камень...

Читатели, как всегда, не знают ответа. Даже такого вопроса для них не существует. Требуют точить и точить.

Не скучно — грустно жить. Почти невозможно. Добивают Заболоцкий и Пастернак: один со своим “Не позволяй душе лениться!”, второй с дидактическим “Не спи, не спи, художник...”

А ради чего — не позволять, не спать? Для того чтобы однажды остановиться и понять, что ты в этом мире тотально одинок и никому, в общем, не нужен, а вся надобность в тебе — как в кресале или точиле?

ДЕТАЛИ

Подскребая за оградой дровяные щепки, коринки и тому подобный повседневный деревенский сор, уподобился прожжённому пьянице, знающему одну, но гибельную страсть, и смышковал на дне канавы аж две целёхонькие бутылки водки с красивым названием “Журавли”. Судя по всему, потеряли ещё зимой, может быть, во время кровопролитной ночной драки по случаю субботних танцев, так что найти наутро не смогли, как ни рыскали голыми руками в сугробе. Они, бутылки, давно вытаяли и лежали, как на ладони, рядом с тропинкой, по которой день-деньской ходят в сельсовет, на почту и в магазин. Но такова, наверное, сила предубеждения, что никто не догадался нагнуться и проверить, вправду ли пустые, раз этак беспризорно валяются на виду у всей деревни. А писатель Антипин пошёл, вооружённый граблями, лопатой и прочим сельскохозяйственным инвентарём, как многофункциональная бригада узбеков, — и сразу смикитил, что пробки не скручены, потому что он труженик пера и подмечает детали. Он тут же схватил их, эти детали, спрятал за пазуху и улетел на сверхскоростной пластмассовой метле, а потом выглядывал в щёлку: не засёк ли кто, не упал ли на хвост?..

Пожалуй, этот случай — единственный, когда писательство хоть чем-то, да помогло.

ПЕРВЫЙ СОК

Ходили с Таюром в лес. Поставили банки под берёзы, пошатались вдоль бурлящей, плюющей пеной Казарихи, да и повернули домой...

Как-то прозаично всё вышло, имею в виду начало этого песенного берёзового сезона, которого я столько ждал! Может быть, потому так произошло, что хотя сок и пошёл, а вот во мне ещё не началось движение, не проткнулось, не закапало на сломе, отчего радость оказалась неполной, омрачённой.

Но в лесу было жарко и сухо. Квохтали и булькали тетерева. Летали бабочки, почти неотличимые от несомой ветром золотистой сосновой чешуи. А в молодом осиннике, в ворохе прошлогодних листьев, точился ручеек — ещё шепелявый, беззубый, не отладивший речь. И когда я взошёл на пригорок и оглянулся, увидев сквозь деревья красную жестяную крышу Хорунжих и косою остров мглистого весеннего березняка за огородами, неожиданно, как слёзы на глаза, навернулись строчки:

*У развалины старой ольхи
Хорошо в небеса заглядеться,
Написать о России стихи,
Как спасибо от чистого сердца...*

И это было начало, пробное движение. Первые капли на сломе. И Вика, прижав маленькими детскими губами, долго пила эти первые строчки из склянки.

ОСТАНОВИТЬСЯ И УСПЕТЬ

От ветра стучает в цинковую ванну молоток без рукояти, подвязанный к водосточному жёлобу куском электропровода. По нему катятся и катятся частые капли настоящего весеннего дождя. Он пошёл с ночи, ванна почти полна — прозрачной, стеклянной водой. Царапает о дно эмалированный коврик, всколыхнув квелые ягоды рябины и пожухшие листья, ещё в сентябре, в пору листопада, закупорившие жёлоб, а нынешней весной проткнутые зарокотавшим по крыше потоком. Ватно отлепляясь от припотевшего войлока, отпахивается банная дверь, надышав запахами мыла, сохнущих распахнуток и берёзового веника, приткнутого в уголке корешком, как и положено, книзу, а золотой, увядшей гривой кверху, всё равно что вздутая ветром есенинская берёза в осенней роще. Звякают дужки вёдер, поставленных на лавку, сокращающимися кольцами сходится в центре ведра раскоченная вода. Тявкают, набираемые в охапку, полешки, лопаются под топором липучая лучина. Красной бабочкой оживает в печи огонь, сев на лоскуток бересты, складывает-раскладывает крылья. И вот уже летит золисто-белым дымом в небо, где совсем по-весеннему курлычут вороны, яркие, как чернильные брызги. Минута, другая, третья. А там и ранний вечер, в синих сумерках — почта, школа, сквозной осинник за котельной. В трубе реактивно гудит, баня нагревается, можно идти собирать бельё и наводить брусничный морс. Но всё сидишь на корточках возле печки, плюёшь на горячее жаркое железо и следишь, как молочной пенкой вскипает и высыхает слюна. И думаешь об одном: как мало человеку надо! Худо ли, бедно ли проходят годы, но хочется ещё пожить, вообще как-нибудь, словом или делом, духом или телом, но попридти в этом мире. Ведь в нём так хорошо вставать с рассветом, выходить на крыльцо, брякнув дверной щеколдой, стоять на ветру или носить из пузатой ванны ночной дождь, а по субботам колоть дрова, топить баню — и радоваться этому маленькому счастью, как незабвенный Алёша Бесконвойный из рассказа Шукшина. Надо бы только уметь забыть себя, стать внимательным, добрым, чутким, не лезть без дела на рожон, любить и прощать, а уходя навсегда, однажды остановиться, оглянуться, посмотреть на эти оставляемые деревья, избы, лица и успеть понять простые вещи.

ОДИН АПРЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ

Очень быстро теперь, в апреле, плывут облака. Едва выхватишь фотообъективом какое-нибудь одно, как оно уже за лесом! И потому, наверное, сильнее желание описать, какие они — апрельские облака, как много в них огня и света, и сколь невыразимо змеятся кучевой зыбью над крышами посёлка, а какая-нибудь комолая корова, как и тысячу лет назад, стоит, заломив морду, на выгоне и — синие, фосфоресцирующие! — облака отражаются в её больших влажных глазах цвета застывающего студня.

И сам ты стоишь неподалёку, подняв к небу лицо, и тоже пялишь бельма. И нет конца твоему восхищению: древний тёмный ельник... рыжие пятна воды под рыхлым последним снегом... толстый бледно-голубой лёд в старице Казарихи... струя её цементного цвета... а по берегам — белые, замороженные в лёд вербы, чуть дрожание на фоне обсохших косогоров с глиняными вымоинами под крутым обрывом. И над всем этим — и над тобой, застывшим с кепкой в руке на краю, — вечное движение облаков!

И комок не комок, кадык не кадык, но сердце подступает к горлу. Да вот беда: нет у тебя ни слов, ни красок животворить этот апрельский день с облаками. Разве что полоснуть по жилам, смешать кровь и чернила, насыпать дымного пороха и поджечь, подживляя прутиком, чтоб лучше горело.

И неизвестно, что там в этот момент делается в твоих глазах, но на душе тогда свежо и ветрено, и пахнет глиной, отволгшей ольхой и дымом.

И сам собой вспоминается из детства такой же апрельский день, когда после субботней стирки мама опрокинула с крыльца цинковую ванну. А ты гулял по двору в красных резиновых сапожках, но застыл, как вкопанный, с восторгом наблюдая, как обступает молочно-сизая пена, искрясь тончайшими фиолетовыми плёночками и золотом надувающихся пузырей. И течёт дальше, прожигая весенний снег, обнажая щепки от дров и смолистые коринки. И коринки на глазах делаются тёмно-красными, контрастными на общем пейзаже, но от этого лишь родней, невозможней, словно не дворовый сор вынесло из-под снега, а из тебя вымыло что-то самое сокровенное, душу саму, и она, как это апрельское облако, вознеслась над тобой и навсегда очаровала.

И вот сколько лет миновало с тех давних сказочных пор, а ты всё так же стоишь и боишься очнуться от этого чуда.

ШИШКИ

День в конце апреля: синий, солнечный, плюс 10 в тени. Сухой ровный жар в сосновом лесу — от веток, от стволов, от хвойной подстилки с её плотным смолистым запахом, который разрезает едким озоновым вкраплением белёсый от гнили ствол ветровальной осины. Жар не знойный летний, но выстывший, как ранней осенью или в бане поутру. Точнее, не настоявшийся. Не набравший необходимой крепи, духана, польмя от солнца. Оно катится над лесом циркулярным диском, щерясь зубчиками лучей. Хвоя сосен то ярко-зелёная, то светящаяся, золотистая — смотря по тому, где теперь солнце. Свет под деревьями — мягкими полукружьями, кружевами с оборками, короткими, цвета луковой шелухи, с солнечной стороны стволов и длинными вечерними — с затенённой.

И всюду вкрадчивый шум, как будто на каждом дереве сидит белка и лужгает семечки! Именно семечки, от вскальвания орехов звук резче и громче. Это поспевают сосновые шишки и, раскрываясь с характерным шелушащимся выдохом, мечут семена — тончайшие светло-жёлтые плёночки. Они кружат в воздухе — мельчайшие, многие. Невесомые, как посёкшаяся ресница. И земля благодатно принимает их, вбирает в незримые лона. И ступаешь осторожно, скорее перенося тяжесть тела, словно и от себя добываясь невесомости, как будто боясь растоптать эти ещё не рождённые, но уже несённые жизни.

“Льётся шёпот”, — сказал бы, наверное, Пришвин. А подует ветер — слышно, как царапаются на редких осинах квёлые осенние листья. В сентябре их прижало морозом и снегом, и они до сих пор не облетели, колеблются, как рыбацкие блёсенки. И два этих звука — шёпот семян и колебанье листьев — наслаиваются, не смешиваясь, как смешиваются холодная и горячая вода в кране, а дьясь парно, двумя спетыми голосами, идут рука об руку, словно жизнь и смерть. И от этого нечаянного сравнения не грустно. Наверное, потому, что семян всё же льётся больше, чем висит пожухших мёртвых листьев на осинах, и этот шёпот, уходя, не уходит совсем, но затаивается, прорастая клейкой чешуйкой в земле или вот этой миниатюрой на странице моего блокнота.

КОНТРАСТ

Бывает весной, спустя неделю-другую после того, как снег сошёл. Выйдешь в погожий солнечный день из дому, и голове без шапки — тепло, а от земли — ещё мёрзлой, с синими звёздочками льда под сырыми листьями в лесу — тянет холодом, пробирая даже сквозь утолщённую подошву резиновых

сапог в их северном исполнении. Ощущение, как будто в реку забрёл до подмышек, видны только голова и плечи, и идёшь мелкими шажочками, и чем дальше от берега, тем сильнее течение, ближе ко рту вода, и вот-вот снимет, подхватит сильной струёй, и поплывёшь быстрыми саженьями. Но пройдёт ещё неделя, перепадут первые дожди, отмякнет земля и заиграет сок в берёзах — и уже обратное ощущение: как будто накупался и так же постепенно, как входил в воду, теперь выходишь из неё, сначала по пояс, затем по колена, а там и встал по щиколотки на мелководе. Примерно к середине мая и этого ощущения нет, и уже почти не чувствуется контраст, когда голове — хорошо, а до шеи — зябко, и либо одинаково холодно, если пасмурный ветреный день, либо равномерно тепло, когда светит солнце и выются бабочки над лесной поляной. А до тех пор идёшь, как по границе ножа и ножен, жизни и смерти, и ещё далека твоя межень, и не вошёл даже по пояс, ещё не сняло, не подхватило...

ПОЛОВОДЬЕ

К маю отъело берега. Тряхнуло, проволокло метров триста — и зарочило возле Борисовской протоки. У нас говорят: “Лена трогалась!”

Разломало и понесло после обеда в воскресенье. Вода немного прибыла, лёд выбросило на берег.

Вчера и позавчера шёл снег, то редко, то густо. И было холодно, старухи опять надели суконные боты. Казалось, при такой погоде, когда молчат ручьи, Лена пройдёт по малой воде. Но в одну из ночей вспучило. Затопило дорожный перешеек между Казарками и Подымахино — только перила деревянного моста видать.

Наняли от сельсовета лодочника. Тот несколько дней перевозил детей в школу и обратно, а в другое время ставил сети. А затем так же быстро река стала убывать, будто выдернули пробку. И как-то наутро сети вместе с рыбой висели на кустах. Видимо, в низовьях сначала закупирило, а затем прорвало, или разбомбили отряды МЧС.

Проводили воду — и сразу светло, ясно в небе. На берегу кое-где — чёрточки удилиц. Уток редкие табунки и выстрелы — тоже редкие и оттого неожиданные. Прожужжала первая моторка, развалив реку серебряной бороздой. И старухи наконец-то сняли боты. Тучи — тёмно-синие по центру, с краёв — как вынутое из печи железо. Под угором лежат намытые в несколько параллельных гребней щепки, ветки, пучки травы и прочий сор. Качается на мели пустая стеклянная бутылка. Этикетка уже размокла и сползла, и бутылка первое время, пока не заилится, особенно чисто сверкает на солнце.

СУД

Каждую весну дорогу между Казарками и Подымахино забирает проснувшаяся Лена, и подымахинцы оказываются отрезанными от посёлка, где сельсовет, школа, почта, медпункт и магазины. Работает лодочная переправа. Но случись что-нибудь серьёзное — машина не проедет, нужно гнать в объезд по трассе. Главное, будь дорога метра на полтора выше, её бы не заливало, во всяком случае, не каждую весну, а если бы и заливало, то не так глубоко, проходимо для машины. Проблему пытались решить. Пригнали экскаватор, самосвал и бульдозер. Нарыли гравия на берегу. Отсыпали. Разровняли. Вышло высоко, хорошо. И жители порадовались: теперь-то весенней блокаде не бывать! Но подоспел ответственный. Походил, померил рулеткой — и махнул бульдозеристу: что-то там не сошлось с бумагой. Было это в семидесятые годы прошлого века, а память об этом случае до сих пор жива в народе:

— Заявился причиндал с портфельчиком, заставил срыть дорогу!

И это тот самый народный суд, чьё решение не подлежит обжалованию, сколько бы воды ни утекло, и от клейма его, под какой ушат ни становись, до бела не отмыться.

ОТКРЫЛАСЬ ВОДА

Пронесло первый лёд, настало короткое затишье между приливами малой и большой воды, к красной неотстоявшейся Лене идут сакальщики. Ходят вдоль воды с саками — капроновыми сетками в мелкую ячейку, приспособленными в виде мешка на концах длинных очёсанных жердей. Несут такой большой сачок на плече — вихляет и дрожит, как двуручная пила, и кажется, что человек под ним тоже вихляет и дрожит.

Ребятишки ли весёлым гуртом ради забавы, муж ли с женой на жарёху. Подойдут к самой воде, медленно потянут из-за плеча, выдвигая над рекой, насколько позволяет длина сака, осторожно, дабы не булькнуть, заглубят — так, чтобы шёл по дну, но камней не черпал, — и тащат, пятась, причём стараются и рыбу не распугать, и зачерпнуть зазевавшуюся. Саканут в одном месте — пусто. Саканут в другом — пусто. А вынут в третьем — в мокром обвисшем мешке затрепещут ельцы, и мелочь уважающий себя рыбак побросает обратно в реку, а рыбёшку покрупнее заберёт.

Настоящее улово — под яром у моста или на луговой траве, куда залилась вода. С травы, смотришь, загребли икряную пузатую щучонку: вцепилась зубами в сетку, брыкается и раздувает ярко-красные жабры. А у моста что-то толкнётся в глубине, потом ещё! И вот уже на прибрежной глине с илом и гнилыми корешками пополам, как поросёнок, возится слепошарый налим, выскальзывает из рук, словно кусок банного мыла, норовит обратно в яму. Бросишь свой сак, помогая выпутать из сети. И когда в несколько рук вынете и с восторгом поднимете — вдруг рванётся, как взбесясь, и шмякнется на мелководье, страстно заходясь хвостом и по-змеиному извиваясь сырым холодным телом.

— Лови, лови его! — закричит дядя Коля Роднин, сидя с удочкой и бутылкой “Столичной” неподалёку. А сам уже воткнул деревянный дрын в рыхлый отвесный берег и во всю прыть бежит, хлюпая голенищами бродней.

И потом — когда только круги на воде и слёзы в глазах — огорчённо:

— Но вы чо, хватъ вашу за ногу?! Не могли-то...

...Я знаю: никому не нужно. Сдохну — забудут на другой день. И жизнь, и книги пронесёт, как этот лёд, едва откроется вода. Вспомнят лишь, что болтался без дела, стоял в школьной ограде, облокотясь на штакетник, и смотрел на Лену. И всё ради этих дней, ради льда в реке и сакальщиков на берегу, ради земляков и родной русской речи. Ради тревожной минуты расставанья, которая длится вот уже тридцать два года, но, как всему, грядёт и ей конец.

НЕ ДЛЯ ГАЗЕТЫ

Сидит — чернее атомной войны. Шалью обмоталась, чтоб не надуло от реки. Голову, как мужик, кулаком подпёрла. Губами жуёт. Слова доброго не скажет — только рывкает:

— Ты меня не снимай! Я этого не люблю!

Рядом на длинной лавке под окном избы уместился корреспондент городской газеты — молодой самоуверенный хлыщ. Выложил диктофон, записную книжку, фотоаппарат и футляр к нему. На носу юбилей Победы, вот и скомандировали пошмонать по деревням, потрясти оставшихся стариков-старух и вернуться с материалом.

— Бабушка, помните, как встретили День Победы в мае сорок пятого? Наверное, большой праздник был, столы накрыли? — сует старухе под нос включённый диктофон.

Старуха прядает, как будто поднесли хрен или фигу. Того гляди плюнет. И всё ей кажется, что откуда-то дует...

— Да какой праздник тогда?! — злится. От корреспондента пахнет “дилоном”, и старухе это не нравится (“Как баба!”). — Мы с девчонками на току были, семенной фонд проверяли. Прискакал нарочный: “Победа!” Сели мы тут, запла-акали... — Старуха некоторое время молчит. Скашлянув,

продолжает отмякшим голосом: — Ну, пришёл председатель, выдал по горстке пшеницы. Бросили в котёл, напарили и поели. Этим и отметили. Опять пошли работать...

Корреспондент вежливо улыбается, кивает. Диктофон ещё держит у старухино лица, но кнопку выключил. А старуха, скинув шаль, всё говорит, говорит...

РУССКАЯ ДУША

В выходных подрубленных брюках и в чистой глаженной рубахе, с ботином на ноге. Ползает на коленях, держась одной рукой за край лавки, поставленной вдоль стены в прихожей, а другой, зажавшей кочергу, шукает в темноте под лавкой второй ботинок.

Собрался в районную больницу, чтоб “осмотрели всего”, торопится на лодочную переправу, и капля пота висит на дряблом рябом носу с крупными красными порами. Но кочерга раз за разом приносит то обрезанный валенок, то стиральный порошок, то детский горшок, в котором старуха разводит цветы. Из уст его сообразно с ценностью, точнее, бесполезностью найденной вещи слышатся недовольное ворчание или солёный матерок.

Наконец, выскреб, что нужно. Сел с багровым от напряжения лицом, с прилипшей к хребту рубахой. Обулся, завязал шнурки, с хрипом переверсясь через колено — через правое, когда на правой ноге, и через левое — когда на левой. Разогнулся, выдохнул, чтобы кровь отлила от лица. Посмотрел на два старых советских ботинка из толстой натуральной кожи, которая до сего дня не прохудилась, только потёрлась. И вдруг засмеялся! Топнул одним, затем другим, сдвинул оба и сказал ополоумевшей старухе, объясняя причину внезапной радости:

— Братка братку встретил! — и кивнул на ботинок, который долго искал под лавкой.

МИЛЫЕ МОИ...

Вода резко выперла, подступила к путейским створам и, вчера почти чистая, снова покрылась белым-белым, как будто распалась и зашевелилась гигантская мозаика. Это взыграли боковые притоки, распатали и подняли лёд. И он сдвинулся огромными массивными островами, застревая на речных изгибах, буравя камни и скашивая кусты, страшно громоздясь и ломаясь, а уже перемолотый, частый поплыл в Лену, придав её водам новой силы, напора, движения...

Двое стариков загорают на лавочке, врытой над рекой, глядят под гору и время от времени причащаются от чекушки, поставленной в схоронное место — в лохмотья прошлогодней травы, наросшей подле. Над водой проносятся утиные табунки, и старики всякий раз оживляются, вспоминая какие-то легендарные выстрелы. В Лене так тесно и шумно ото льда, что старикам приходится кричать друг другу. Со стороны может показаться, что они отчаянно спорят и вот-вот бросятся в драку.

Подъезжают на мотоцикле местные мужики, уже навеселе. В дощатом коробе — вёсла, ружья, мешок сетей, помятый бензобак от лодочного мотора, две капроновые двадцатилитровые канистры с топливом и положенный на бок старый измятый “Вихрь” без колпака. Здороваются за руку, и старики вежливо привстают. Некоторое время все смотрят на реку, слушают шум и провожают глазами зажатый льдинами баркас с чёрным номером на носу...

— Ну как, отцы?! Можно пройти на лодке? — наконец спрашивает один.

Старик из избы напротив, чья лавка, охотно откликается:

— А можно! Закрой глаза только...

...Люблю тебя, русский народ.